

СМЕРТЬ НА ОСТРОВЕ

Независимая газ. - 1996. - 7 июль. - с. 7.

О реакции гуманитарной общественности на уход
Иосифа Бродского

Вячеслав Курицын

Имя файла

МОСКОВСКИЙ интеллектual Сережа Икс попал случайно в Ленинскую библиотеку и был застигнут мною в зале периодики. Сережу потрясло, что столь огромное количество букв еще умудряется, оказывается, существовать на бумаге, а не только лишь в утробе интернета. Еще больше его потрясло, что «Литературная газета» посвятила полосу кончине Иосифа Бродского и Юрия Левитанского — на двоих, аккуратно не выпячивая харизму, деликатно не разменивая нобелевские тугрики на драхмы изо рта скользящего через Стикс. Сережа сказал, что любит, конечно, Левитанского и удивлен, по раздумью, сколько его стихов помнится наизусть, но... Это «но» с трудом переводится в подлинно корректную речь, что не мешает ему указывать на существование прелюбопытных фигур мысли: смерти бывают одна главнее другой.

Не только известный род пернатых, больших, нежели пространство, но почти всякая живая антенна наостряет душу при объявлении о чужой смерти. Код прост: небытие нанесло ответный удар, и надо дать ему понять, что права на высоко поднятую голову у нас, во всяком случае, никто не отберет. Тем более такая смерть — главная на много лет вперед и назад. Было, что умер Ерофеев, но это прошло не по номинации заката солнца, а как классическая социально-медицинская трагедия, как род предсказанной самому себе последней сигареты. Тем более — он был шут. Уйдет Солжени-

чно, что волна волной, а свою соотносительность с живой русской жизнью всякому приходится и придется доказывать в одиночку.

И даже акция Дениса Горелова, перепечатавшего из древней «Комсомолки» скандальную статью Горелова Павла, сообщавшего, что получивший нобеля Бродский есть пошляк и графоман, выглядела милой шуткой, не очень даже напоминающей миру о бывших делишках тогдашнего редактора «КП», а ныне спикера известно чего Геннадия Селезнева.

Сюжет третий — менее юмористический. Он касается трупа. После того как нобелевский лауреат обрел именно такую форму бытования на грешной земле, определенные и не очень определенные круги отечественной интеллигенции пошли куда следует (то есть в масс медиа) и стали тыкать толстым пальцем в книгу, где подчеркнуто: умирать поэт собирался на Васильевском острове, а не на острове Манхэттен, в связи с чем убедительно просим упаковать и выдать.

Разумеется, для решения таких проблем имеется такой устойчивый социальный институт, как семья, и такой авторитетный тип текста, как завешание, и никакая духовная текстология, никакие представления о прекрасном и слюни о высоком не могут быть сюда подпущены ближе, чем на пять пушечных залпов. Уверенность поборников духа в том, что культура имеет власть над телами своих рабов, — традиция очень упорная. Очень приятно, что Евгений Рейн быстро отклонил попытку своих рабов, — традиция о судьбах апофеоза частиц (так сам Бродский нарек свой будущий прах), а для тех, которым уж совсем некуда девать чувство юмора, Лев Лосев пустился в объясне-

России. Великий человек. Великий русский поэт. Наравне с великими поэтами прошлого века. Место уготовано во всех хрестоматиях. Великий чрезвычайный и полномочный посол Ее Величества Русской Словесности. Что сказать о мире, где нет больше Бродского? Только сейчас я понял, как много он значил в моей жизни. Я не знаю ни одного интеллигентного человека, который не был бы потрясен...

Мама дорогая.

Эти из глубин души рвущиеся строки принадлежат не только пленникам духовности и узникам режима, для которых ведро пафоса на три строчки текста — норма. Они принадлежат и людям новейшего и даже совсем нового поколений, отъявленным, в том числе, постмодернистам, рыцарям компьютерных сетей и измененных состояний сознания, мастерам грамотного денежного журнализма, поклонникам Деррида и Маша Цигаль. Общась со многими из них посредством голоса, письма или, как Вайль, факса, я предполагаю, что я мог, сколько сложено у них внутри высоких слов, будто так и ждущих оказии рвануться к небу в пронзительном, искреннем и чистом порыве. Не замечал я за ними раньше и сомнительных синтагм типа «не знаю интеллигента, кой бы не был потрясен и не рвал бы на груди рубашку»: я, допустим, не был потрясен, значит ли это, что я автоматически выбываю из числа интеллигентов?

Я не знаю, каким тоном комментировать это священное безумие. Я не очень, наверное, вправе указывать Благословенскому и Гольдбергу, что фраза о солнце, закатившемся «уже в который раз», должна бы принадлежать Зошенко. Я не вправе сообщать Вайлю, что его утверждение, что между Бродским и следующими (скажем Гандлевским, да?) — «зияние и пустота», прежде всего неприлично. Я как-то очень робко хочу высказать свою неуверенность в том, что такая важная и интимная вещь, как смерть человека, может служить поводом для стилистической небрежности, для демонстрации селу и городу тех отвалов высокопарности, что болтаются без дела у тебя в душе.

Назвать, что ли, это все чем-нибудь «глубоко русским»? Тот же Вайль (дался он мне, непременно пошло ему перед выходом статьи факс с предвратительными извинениями) всегда был шалуном, но тем не менее американская школа политкорректности «давала» себя знать, и он никогда не позволял себе кричать, что бывают поэты в тыщу раз главнее других. Наступил, однако, ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ. Мужик рванул рубашку: ах, нынче можно! Душа гуляет. Русский, поди, тем и русск, что всегда таит возможность в разгар светской беседы и в приличной компании рубануть кулаком по стулу и заорать последнюю правду-матку. Шутка.:—)

В посвященном великой смерти выпуске «Намедни» Дмитрий Александрович Пригов сказал, что Бродский был великим поэтом в эпоху, когда уже нет понятий о великой поэзии. Конечно, должен был выступить Пригов: как наследник трона, как тот, что сделал решающий (для, что ли, парадигмы) дискурсивный ход — взял роль поэта (который ходит и всем говорит, что он велик). Квазивеликого поэта. По мне, и тактика Пригова уже устарела, о чем речь отдельная, но в «Намедни»-то эта тактика была единственно живой на фоне всяких вот высоких говорений. То есть массовое сознание находится вообще Бог знает где.

В государстве Израиль два эмигранта отсюда издали боевик «Операция «Кеннеди», где сообщили, будто Ицхак Рабин не был, убит, а просто спрятался. Всю страну, охватил грандиозный скандал: оскорбление, поспрашивание. Это первый литературный скандал в истории Израиля. Они-таки думали, что уехали туда себе от великой русской литературы?

$A+B+C+D+E+... \geq$
 $\geq (\text{Бродский})^2,$

где А, В, С и т.д. — русские литераторы эпохи первоначального накопления хоть чего-нибудь.

цын, но имидж Борца в нем явно перевесит имидж Художника: строго говоря, он сам так и выбрал. Будет, возможно, смерть БГ, но любой музыкальный гений, по определению, проходит в ведомостях более поповских, нежели духовных. Не всей великой культуре он принадлежит, а только последней четверти века. К тому же БГ так упорно смотрит в сторону Тибета, что, не исключено, никакой смерти либо просто не случится, либо мы ее не увидим. Так что карты легли, как женщины: это была (в глазах гуманитарной общественности) главная русская смерть конца второго — начала третьего тысячелетия. И очень долго еще не будет таких, если вообще когда-нибудь будут.

Разумеется, реакция означенной общественности на такое выдающееся событие — прекрасная, как говорится в почитаемой Бродским школьной традиции, лакмусовая бумажка.

Первый сюжет — традиционные для всякого морального случая спекуляции на тему, кто держал свечку. Я слишком хорошо отношусь к Петру Вайлю, чтобы комментировать строку «Это стихотворение Иосиф прислал мне в Прагу по факсу в четверг 25 января», опубликованную Вайлем в апрельском «Знамени». «Есть такие вещи...», — говорил Венчик, а я добавляю — какие: которые стыдно не только писать, но и потом обсуждать.

Второй сюжет — политика. Что называется, «разыграть карту». На сей раз этот сюжет развернулся достаточно скромно и спокойно. Конечно, патристические издания не отказали обществу в своих четырнадцати копейках. В частности, в «Литературной России» была напечатана статья Константина Ковалева о том, что Бродский — поэт глубоко нерусский, во-первых. А во-вторых, он сам написал, что сбивает из букв когорту не для жечь сердца, а «чтобы в каре веков вклиниться их свинья». «Но ведь слово «свинья», — комментирует Ковалев со скрупулезностью Вацура и Гаспарова, — имеет и первоначальный смысл. Это грязное и нахальное хрюкающее всеядное животное. Даже Маяковский, при всей своей экстравагантности, свою поэзию с такой парнокопытной прелестью с пятачком не сравнивал». Но филологически-животноводческие изыскания резонанса не имели и отповедей в цивилизованных изданиях не спровоцировали. Слава Богу, кажется, война антисемитов с антиантисемитами осталась в легендарных временах «Огонька» — «Нашего современника».

Конечно, «разыгрывала карту» Бродского текущая русская эмиграция, написавшая, пожалуй, три четверти всех посмертных панегириков. Эмиграцию понять можно. Бродский — одно из последних ее художественных оправданий, его существование явно придавало третьей (или какой? уже подзабылось) волне особый метафизический смысл, его несуществование наполнило уже существование волны не менее метафизическим трагизмом. Но и здесь обошлось без эксцессов: слишком уж

ния, что глагол «умирать» имеет несовершенный вид и означает многократно повторяющееся действие (Ковалев, впрочем, логично заметил, что означает-то он действие продленное). Дика, однако, сама ситуация: лингвисты и прорабы духа спорят, где должен покоиться совершенно чужой для них человек.

Особой строкой в этом сюжете стоит отметить таинственную склонность властей города Санкт-Петербурга к мертвым телам. В Северную Пальмиру последовательно востребовались В.И. Ленин из мавзолея, Николай Второй из Екатеринбурга и Иосиф Бродский из Нью-Йорка. Пока Смольный никого не получил, но очень любопытно будет проследить за действиями его хозяев после того, как им-таки удастся добыть какого-нибудь неживого человека. В настоящее время городу приходится довольствоваться паллиативами в виде вполне запрещенных, но, увы, неорганических монстров Михаила Шемякина.

И, наконец, четвертый сюжет, лично мне показавшийся наиболее странным. Это ошарашивающая серьезность, с которой интеллигенты и интеллектуалы говорили о главной смерти. Как о важнейшем и трагичнейшем событии собственной жизни. Вот горсть цитат, без снижающих пафос кавычек. Солнце русской поэзии закатилось уже в который раз. Жизнь вечная в русской поэзии. Громадный разрыв между ним, первым, и вторыми, третьими, сто пятидесятыми. Он был более русским, чем миллионы оставшихся в